

Содержание

Предисловие	6
-------------------	---

Няня из Москвы	9
----------------------	---

Рассказы

Свет Разума	242
Христова всенощная	266
Блаженные	275
Рассказ доктора	285
Мартын и Кинга	307
Царский золотой	320
Небывалый обед	337
Милость преподобного Серафима	351
У старца Варнавы	365
Стенька рыбац	373
Крест	382
Лампадочка	393
Страх	404
Глас в ночи	413
Кровавый грех	423
Свет	433
Рождество в Москве	441
Врешь, есть Бог... ..	459
Бескрестный Лазарь	463
Ясновидец	468
Еловые лапы	473
Угодники Соловецкие	479

Повести

Неупиваемая Чаша	488
Куликово поле	566

Предисловие

И. С. Шмелев (1873–1956) прожил длинную, трудную жизнь. Потерял горячо любимого сына, который был расстрелян во время красного террора в Крыму. Потерял и свою родину, покинув Россию, где всё напоминало ему об этой трагедии. Живя в эмиграции, И. С. Шмелев пытается восстановить в своем творчестве историческое пространство России, но перед этим он «восстанавливает» свою собственную душу, свою утраченную целостность. Таков духовный контекст романа Шмелева «Няня из Москвы» (1932–1933, Париж).

Само название романа отсылает нас к пушкинской Арине Родионовне, к образу русской няни, хранящей теплоту домашнего очага и традиционный уклад жизни.

В романе борются две стихии — стихия хаоса революционных лет и разрушающейся семьи и противостоящая ей сила созидания и гармонии. Победить разрушение поможет она, необразованная, но освящающая все любовью — старенькая няня Дарья Степановна. Созидание после душевной, духовной и государственной разрухи возможно — пока существуют «няни из Москвы», которых не учили жить «для саморазвития», но которым была дана способность смиренно создавать святость обыденности и целомудрие домашнего очага.

В сборник «Няня из Москвы» вошли также рассказы и повести, написанные в эмиграции. По самым известным произведениям Шмелева — «Богомолье» и «Лето

Господне» — мы хорошо помним образ той древней, богомольной, купеческой Москвы, которую он знал еще ребенком. Не забыть ее, не изгладить из своей памяти ни героям Шмелева, ни самому писателю, который говорит: «Полезно оглядываться на прошлое...» Ведь сохранение памяти, эта «оглядка на прошлое», такая мучительная и требующая мужества, рождает покаяние и очищение души. Покаяние — один из мотивов, постоянно звучащих в жизни и в художественном мире Шмелева на протяжении всего периода эмиграции. Оно вызвано глубоким размышлением о том, почему рухнули прежние основы российского мира.

Дьякон из рассказа «Свет Разума» находит причину этого разрушения в том, что люди изменили голосу своего сердца, забыли о душе: «А Свет-то Разума хранить надо? Хоть в помойке и непотребстве живем, а тем паче надо Его хранить... Высший Разум — Господь в сердцах человеческих. И не в едином, а купно со всеми».

В рассказе «Всенощная» русские мальчишки-эмигранты, лишенные дома, в приюте при дороге ждут знаменитый квартет Кедрова, который исполнит для них всенощную. Туда, в ночь, в бездорожье, к этим покинутым в чужой стране детям, едут известные артисты и сам рассказчик — и тьма озаряется Светом.

Память очистившейся души помогает Шмелеву воскресить и свой потерянный в России дом. Вот он с Горкиным едет на богомолье Москвой, любовно-возвышенно описывая ее дороги, церкви и часовни. И с неба льется Свет, дающий и старику Горкину, и мальчику неземную радость и неземные силы — идти к личной встрече с Богом (рассказ «Москвой»).

Шмелев показал в русском человеке и страшную тьму (рассказы «Крест», «Кровавый грех»), и то, как

маловерные, истерзанные жизнью люди сумели увидеть Господа, склонившегося над этой опустошенной Россией — и, пусть даже не веря в Него, все-таки сделали усилие и протянули к Нему руки.

Рассказ «Милость преподобного Серафима» — история о чудесном излечении самого писателя и укреплении его веры. В судьбе Шмелева это исцеление стало переломным моментом, после которого он дорабатывает свои главные произведения, воскрешая в них образ старой России, своего Дома. Сильнее недозволенной любви оказался Свет Христов, давший силы для творчества и «вечную память» — и иконописцу Илье из «Неупиваемой чаши», и его любимой. И все это было так давно... И так вечно. Шмелев, как его герой, иконописец Илья, писал для нас свою «сокровенную» Россию, свой Дом. Потому что Дом — это место для любого человека, уставшего от шума и суеты жизни, недолговечных и беспорядочных человеческих отношений — уставшего так, что, быть может, помимо его собственного сознания из уст выливается: «Господи!»

Татьяна Радомская

Няня из Москвы

I

А вот и нашла, добрые люди указали, записочка ваша довела. Да хорошо-то как у вас, барыня, — и тихо, и привольно, будто опять у себя в Москве живете. Ну, как не помнить, с Катичкой еще все к вам ходили, играть ее приводила к Ниночке. Покорно благодарю, что уж вам беспокоиться, я пожимши чайку поехала. И самоварчик у вас, смотреть приятно. Вспомнишь-то, Господи... и куда девалось! Бывало, приведу Катичку... — дом у вас чисто дворец был, — они с лопаточками в саду, снежок копают, а меня экономка ваша... носастенькая такая у вас жила, — Аграфена Семеновна, ай Агафья Семеновна?.. — чайком, бывало, попоит с рябиновым вареньем, а то из китайских яблочков, — любила я из китайских. Тут их чтой-то и не видать... — воды им, что ль, тут нет, и в Америке этой не видала. А как же, и там я побывала... И где я не побывала, сказать только не сумею. И терраска у вас, и лужаечка... березок вот только нет. Сад у вас, правда, побольше был, не сравнять, как парки... грибок раз белый нашла, хоть и Москва. Помню-то? Пустяки вот помню, а нужного чего и забудешь, голова уж не та, все путаю. Елка, помню, у вас росла, бо-льшая... барин лампочки еще на ней зажигали на Рождестве, и бутылочки все висели, а мы в окошечки любовались, под музыку. И всем какие подарки были!.. И все — как во сне словно.

А вы, барыня, не отчаивайтесь, зачем так... какие же вы нищие! Живете слава Богу, и барин все-таки

при занятии, лавочку завели... все лучше, чем подначальный какой. Известно, скучно после своих делов, ворочали-то как... а надо Бога благодарить. Под мостами, вон, говорят, ночуют... А где я живу-то, генерал один... у француза на побегушках служит! А вы все-таки при себе живете. И до радости, может, доживете, не такие уж вы старые. Сорок седьмой... а я — больше вам, думала. Ну, не то, чтобы постарели, а... погрузнели. В церкви как увидела — не узнала и не узнала... маленько словно постарели. Горе-то одного рака красит.

А уж красивые вы были, барыня... ну, прямо купидомчик, залюбуешься. Живые, веселые такие, а как бриллианты наденете, и тут, и тут, и на волосах, — ну, чисто царевна-королевна! Нет, не то чтобы подурнели, вы и теперь красивые, а... годы-то красоты не прибавляют, до кого ни доведись. Барин-покойник скажут, бывало, про вас Глафире Алексеевне, — «уж как я расположен к Медынке с Ордынки!» — так вся и побелеет, истинный Бог. Ну, понятно, ревновала. А как и не ревновать... сокол-то какой был, и веселый, и обходительный, и занятие их такое, при женском поле все, доктор женский! Только, бывало, и звонят, только и звонят, — прахтика ведь у них была большая. И это случалось, вздорились, и меня в ихние разговоры путали, Глафира-то Алексеевна. Я еще до Катички у них жила, от мамы с ними перешла, в приданое словно, — уж как за свою и считали. А помирал когда барин, — Глафира Алексеевна... это уж в Крыму было... Ну, что покойников ворошить, Царство Небесное, Господь с ними.

И малинку сами варили, барыня? Мастерницы вы стали, обучились, — ягодка к ягодке, наливные все. А то и не доходили ни до чего. А чего и доходить, прислуги полон дом был. И дома редко бывали, гости вот

когда разве, а то театры, а то балы... Ниночку замуж выдали... так, так. Письмецо Катичка читала, в Америке этой получили. Да маленько словно порасстроилась, попеняла, — «все вон судьбу нашли, одна я неприятчиная такая, мыкаюсь с тобой, с дурой...» Да нет, любит она меня, а это уж так. Не ей бы говорить, отбою от женихов не было, так хвостом и ходили, и посейчас все одолевают. Да что, милая барыня, и никто ее не поймет, чего ей надо, такая беспокойная. Уж и натерзалась я с ней, наплакалась...

А в Америке апельсиновое больше варенье нам подавали, а то персиковое. Просила Катичку, — купи мне яблочков, вареньица я сварю, — так ни разу и не купила. У них там американское, конечно, варенье, пусто-е... суроп один надушенный, и доро-го-е! А свое-то варить не позволяют. Мы там в номерах жили, на самом наверху, на двадцатом этаже, чисто на каланче, — ну, огня и не позволяют, пожару боятся. Уж и высоко-та-а!.. — в окошечко как глянешь, сердце и упадет. Эти гуделки вот, — ну, как спишешные коробочки, а человека и не разглядеть, — как сор. Видала-то, говорите... Да уж чего-чего не видала. И по морям-то меня возили, и со зверями в клетке сидели... Сидели, барыня, с самыми-то страшенными, львы-тигры вот... истинный Господь. И еще обезьяна, ножиком нас запороть хотела... и как царицу ихнюю на огне жгли, глядеть ходили, где вот... голые все там ходят, а тут обвязочка. Скажи другой — сама бы не поверила. И чего же надумала, — на еропланах подымать меня собралась, с идолом с тем, с американским, с трубкой все к нам ходил. Да я наземь упала, не далась. «Нет, голубушка, ты уж, говорю, хоть за небо лети, а я погожу, по земле еще похожу». Она-то уж летала, сорвиголова стала, — не узнаете и не узнаете. А такое уж у ней теперь занятие...

и в море топить везут, и из пистолетов в нее палят, и портреты с нее сымают... — понятно, для представления, уж вам известно. В такой-то славе она теперь... по-ихнему — уж звезда стала, вон как!

Да с чего уж вам и рассказывать — не знаю, от очуменя никак все не отойду. Увижу во сне, — опять будто в Америке живу, на тычке сижу одна-одиношенька — так меня в пот и бросит. Да как же, барыня... Перво-то время вместе мы жили с Катичкой, и каждый день у нас с ней неприятности: «да связала ты меня по рукам — по ногам, да куда мне тебя, старую, девать...» — характер уж у ней стал портиться. Просилась у ней — «стесняю тебя, может, хоть в Париж меня отвези, там знакомые у меня, будто свое уж место, и в церкву дорогу знаю». Разнежится она, «нет, погоди... и все-таки я к тебе привышна... да ты мне нужна, да как я без тебя буду?» А и часу со мной не посидит. Убежит в омут этот страшный по своим делам, а я плачу-сижу, слезть-то одна не смею, сижу-молюсь, ее бы не задавили на низу там. А как наказала она себя ждать, а сама за тыщи верст улетела, на еропла-нах, мигалки вот где изготавливают... вот-вот, в снима-то эти, сымаются на картинки где, я и конца себе не чаяла. Абраша, спасибо еще, попался, с нашей стороны, жид-еврей, Тульской губернии... Да легкое ли дело, одна-одиношенька, в чужом месте, в американском, на двадцатом этаже, сказать по-ихнему не умею... Ну, наказала себя ждать, с дилехторами все у ней разговоры шли, велела половым ихним кушать мне приносить. А они без зову не приходят, в разные им пуговики надо тыкать, в иликтрический звонок. Ткнула раз, — смерть чайку захотелось, — приходит арап зубастый, давай на меня лаять, по-ихнему, и на полсапожки тычет, велит скидывать. Все и потешались. Три

арапа приходили, все одинаки. И обед-то от них принимать неприятно, чисто тебе собака принесла. Абраша меня и вызволил, взял к себе на постой, в квартирку, деньги-то такие не платить.

Ну, возила она меня в собор наш, в русский... хороший такой собор, и образа богатые, наши образа, барыня. Все-таки они нашу веру почитают. А потом меня Соломон Григорьич провожал, Абрашин папаша, старичок. Ну, маленько отойдешь там, помолишься. А мы тогда прямо голову с Катичкой потеряли, Васенька шибко заболел, она и помчалась служить молебн, на себя непохожа стала. Да вы его словно видели, в Москве он у нас бывал. Да в Ласковое вы приезжали перед войной к нам, два денька гостили, еще барин верхом с вами ускакал, и до ночи вы катались, а барыня серчала!.. В именьи у них, у Васеньки, и лошадок брали... ну, вот, вспомнили. Говорите, как я все помню. Где же всего упомянуть, память старая — наметка рваная, рыбку не выловит, а грязи вытащит. Да я и хорошего чего помню. Васенька в студентах учился, а именье их с нашим рядом, миллионеры были, один сын у отца. Вот-вот, самые Ковровы они и есть, припомнили. Как же, и он тоже в Америку попал, полковник уж тогда был, а у них в анжинера вышел, хорошую должность получил, иликтрическую. Уж он с нами канителился, и в Костинтинополе, и в Крыму... спас ведь от смерти нас! Убежит она из дому, чего-то им недовольна, он и сидит со мной, и молчит. А раз и говорит:

— Ах, няня-няня... сколько я всего вынес, три пули меня прострелили — и цел остался, а Катичка меня измучила!

Через себя сказал, скрытный он. Да это, барыня, знать надо, сразу-то не поймете. И нескладно

я говорю, простите... голова чисто решето стала. И то подумать: где меня только не носило, весь свет исколесила. Я уж по череду вам лучше, а то собьюсь. Чего, может, и присоветуете, душа за Катичку изболелась. И приехала-то я затем больше, правду-то вам сказать...

II

В Америке-то очутились? Это я вам скажу, а сперва-то я вам... Ну, что ж, позвольте, чашечку еще выпью. Хороший у вас чай, барыня, деликатный, а с прежним все-таки не сравнять. Бывало, пьешь-пьешь... ну, не упьешься, до чего же духовит!

А ведь это Господь меня к вам привел, Господь. Стою намерен в церкви, на Рю-Дарю, и такая тоска на меня напала... молюсь-плачу. У Марфы Петровны я пристала, в нянях она у графа Комарова раньше жила... Вот-вот, самый тот Комаров-граф, сколько домов в Москве, высокого положения. Так и прижилась, они ее с собой и вывезли. Все уж у них повзросли, и прожились они тут, ни синь-пороха не осталось, а графиня померла в прошедшем году. Теперь один сын на балалайке играет в ресторане, офицер, а постарше — в дипломата хотел попасть, да уж расстройка вышла, он теперь, Марфа Петровна сказывала, дальше Америки уехал. А дочка у высокой княгини платья для показу примеряет, вон как. Марфу Петровну знакомые и взяли, — дочка у них за рестораником нашим, — ее и взяли за девочкой ходить. И комнатка ей на чердачке, тут уж так полагается. Она меня и приютила. Правду сказать, не бедная я какая, смиловался Господь, за себя плачу... Катичка мне дала деньжонок,

и не в обрез... Деньги-то? Да она теперь, барыня, столько добывать стала, — не сосчитать! И богачи ихние к ней сватаются все, она только не желает. Такие чудеса, никто и не поверит.

Ну, стою в церкви и плачу, себя жалею... бо-знять чего надумываю: вот, дожила... обгрызочком за порожком стала, никому не нужна. С думы так. И за Катичку-то тревожусь, как она там одна. Катичка-то? Да очень любит, и уезжала я — плакала... да, говорится, одна слеза катилась, другая воротилась... молодая, ветерком обдует и... Пойду, думаю, поставлю свечку Николе-Угоднику-батюшке, забыла ему поставить. А он сколько спасал-то нас, с иконкой его так и поехала из Москвы... старинная, от тятеньки покойного. Так это в уме мне — пойду-поставлю! А уж и обедня отходила. «Отче наш» пропели. Подхожу к ящику свечному, а вы меня и окликнули. Я даже затряслась, как вы меня окликнули — «няничка»! И как вы меня узнали, неуж по голосу... разговор у меня такой, тульской все? А-а, по «смородинке» по моей... ишь, ведь упомянули! А я бы вас нипочем бы не признала. Чисто смородинка у меня на лице, ваша Ниночка все, бывало, — «няня-смородинка», звала... а то «родинка-уродинка». Вот и пригодились уродинка.

Ниночка-то ничего живет? Так-так, за шофером, офицер тоже был. Так, так... красоту делать обучается. Слыхала, как же, барыням щеки натирают, боту делают. Ну-к что ж, что небогато живут... а кто теперь богато-то живет! Сыты, одеты, обуты, — и слава Тебе, Господи. Катичка и в богатстве вон, а... Мало чего она Ниночке напишет, а сердечко ее я знаю. А чего она может написать? При мне и писала, на одной ноге плясала, все некогда. Видите, как я верно, — открыточку... не любит она толком написать, знаю ее характер.

Недолго наживет она там, с американцами, до первой обиды только. Мне Абраша сказывал, а уж он там все-то дырки облазил, ихние порядки знает:

«И зачем вас барышня пускает от себя, мамаша дорогая!» — все он меня так — мамаша дорогая. — «У нас здесь один разговор... то ли ты горло кому перегрызи, то ли тебе голову оторвут!» — так все говорил. — «Старинный глаз тут нужен, а то барышню могут оскандальить, которая красавица и без свидетелей, и от суда откупятся».

И папаша его, с кем вот ехала я оттуда, Соломон Григорьевич, хороший такой мужчина, уж старичок... наш тоже, тульской, портной из Тулы военный, тоже сбежал от ихних порядков, не мог привыкнуть. А человек терпеливый, во всех квасах, говорит, мочен. Такой-то жалетель душевный оказался... Ехали мы с ним на корабле, семеро суток по морю-океяну ехали, вот я тошнилась, — помру, думала. А он со мной рядышком тоже тошился, все меня утешал:

«Ох, чуточку потерпеть осталось, Дарья Степановна... ох, зато от Америки этой дальше уезжаем, бел-свет увидим...» — все меня развлекал.

А его другой сын выписал к себе, в ихние палестины, в Старый Ерусалим, — и у них тоже там святое место. Про Катичку-то я вам... И рвалась я оттуда, а ради Катички уж терпела, как я ее одну оставлю. Девочка она красивенькая, привлекающая, так круг ее и ходят, зубами щелкают... ну, долго ли с пути сбиться. А она на таком виду, при таком параде теперь... И всего там за деньги можно, а де-нег там... душу купят и продадут, и в карман покладут, вот как. Она и бойка-бойка, а и на бойку найдут опойку. Говорится-то — на тихого Бог нанесет, а бойкой сам себе натрясет. Ну, она меня уж и отпустила, и попутчик такой надежный,

Соломон Григорыич. Поняла, может, что погибать мне с ними, не миновать... ну, непричальна я к тем порядкам, к американским ихним. Да Васеньку-то она заканителила, и идол тот навязался, — роман и роман страшный. Уж как все расканителится — не скажу. Не подумайте чего, барыня... она вот как не желала меня пускать, а я все... так уж Богу угодно, мысли все у меня такие были — поехать надо. Ночи не спала, все думала — поехать и поехать, совета попросить. Да вот, про Катичку-то... Да сразу, барыня, не понять, это все знать надо. Идол тот, думается мне так, зуб на меня точил. А вот ее все, мол, оберегаю. Он, может, и уговорил Катичку отпустить меня, правды-то всей не знаю. Да еще я, барыня, попугать ее, просилась-то, отвезти-то меня, а сама нипочем бы не уехала, своей-то волей. Да нет, ничего, барыня, не путаю, а... на мысли вступило мне, поехать и поехать по одному делу. Да дело-то не важное, а... Уж и натерпелась я там, наплакалась-наглоталась. Ну, она мне и... — «что ж, поезжай, там тебе повеселей будет...» — дозволение и дала. И люблю ее, а поехала... будто так надо, в мысли набилось мне. Может, чего и выйдет, к лучшему. Да и правда: тут-то я хоть в церкву схожу, душу отведу, а там как привязанная я словно, да напужена-то, шум такой... чистый ад! И все будто сумашедчие какие, слова доброго не услышишь, дела до человека нет. Тут народ, барыня, вежливей, сравнять нельзя: и улицу покажут, и... Уехала я, вот и ее, может, подманю: соскучится по мне — скорей приедет.

Не окликните вы меня, так бы я вас и не разыскала. Был у меня адресок на бумажке ваш, Катичка дала. Провела меня Марфа Петровна до земной дороги, под землю лезть, в вагон посадила, наказала пять станций считать и вылезать. Ну, вывели меня из-под

земли, стала бумажку совать человеку одному, а ветром ее и выхлестнуло. А там омут чистый, автомобили гудут, вагоны крутятся, — завертело мою бумажку под колеса. Искали с ихним городovým, и человек тот с нами ходил-искал... хорошие, спасибо, люди попались, вникающие. Объясняю им — адри́ст улетел, ф-фы! — поняли, пожалели — не нашли. Поехала я назад к Марфе Петровне. Спасибо, карточка хозяина ее была с адреском, а то бы и ее не нашла. Да еще молодчик один на меня поантересовался, признал — русского я роду, шофер: «садитесь, бабушка, я вас доставлю в сохранности, куды вам?» Заплакала я прямо. Довез акурат до квартиры, ни копеечки не взял. — «У меня, — говорит, — мамаша теперь такая же старушка, в России нашей». Уж такой обходительный, сурьезный, из офицеров тоже. А в церкви вы меня и опознали, Господь привел.

В Америку-то как попали? А разве Катичка Ниночке не отписала? Правда, голову уж она тут потеряла, Васенька заболел. Да вы сразу-то не поймете, идол тот замешался. Идол-то... Да он, может, и ничего, а вроде как шатуший, лизун. Это он меня так прозвал — и-дол! — осерчал. Привела его Катичка меня показать, чисто чуду какую... много ему про меня наплела, что вот не может без меня быть, — то-се. При нем меня и поцеловала, стала нахваливать, по голоску уж слышу. А он ощерился, и пальцем в меня — «и-дол!» — говорит. А Катичка после сказала — «иконкой» она меня назвала ему. Она меня, бывало, — «иконка ты моя, не могу я без тебя!» — это уж как разнежится. А тот на меня — и-дол! — почитает, дескать, она меня шибко! А сам вроде как искутан, лицо такое неприятное, кирпичом, никогда и не улыбнется, зубы покажет только, какие-то они у него... железные словно, а не золотые,

смотреть даже неприятно. А бога-ач... денег некуда девать, полны подвалы. Все при деле там, а он надоел звонками. Много уж за сорок ему, и одутлый, а навязался и навязался. И со всеми дилехторами будто знаком, сымаются вот где. Где уж она его сыскала, — не отцепляется, так вот и стережет. А она потешается: идол к нам, она Васеньку вызвонит, повертится перед ними и убежит. Они и сидят, как глупые. Говорила ей — «навязался человек, без пути ходит... да ну-ка еще жена-тый!» Да уж она волю-то взяла, узды на нее нету, разве она слов слушает. А ей голову закрутили, во всех ведомостях печатают, шмыгалы к нам повадились, карточки с ее щелкают... — уж она показная стала. А де-нег у него... ни в какие банки не укладешь, сам будто делает! Не вздор, барыня, а сущая правда. А, может, и нахвастал. Заехал как-то, в телефон покричал минутку и говорит Катичке: «сейчас я на ваше счастье миллион сделал!» А она повернулась так, гордо ему — «что мало?» — и ушла, ни слова не говоря. Он глазищами на меня похлопал, я ему и сказала: «и нечего, батюшка, вам тут, лучше бы домой шли». Съесть хотел меня, прямо.

Чего уж она наболтала про меня, только он меня невзлюбил. Все и думала — господ бы Медынкиных по-встречать, про вас. А где вы — и знать мы не знали, живы ли. Оборвется, думаю, у нас с Катичкой, где нам искать защиты? А вы с Катичкой ласковы всегда были, подарки какие всегда дарили, — помога не помога, а все ей совет дадите, и все-таки одержка, очень она своевольная, меня не слушает... и с Васенькой, может, уладили бы дело. Другой бы ее сразу обломал, а он благородного характера, все терпел. А как заноза в нее на-села... Да это по череду сказать надо, а то не поймете. А это артист один, баринов адресок Катичке сказал,

на лавочку, она и отписала Ниночке. Артист-то? Он барину на лавочку писал, а барин и не ответил. Нет, фамилию не упомяну, какая-то мудреная... Мен-дриков, что ли? и еще как-то... Кандрихов? Две у него фамилии будто. Все бухвостил:

«Я у них на Ордынке театры играл, без ума все от меня были, а Варвара Никитишна перстень, — говорит, — мне изумрудный поднесла!»

Может, что и наплел, как вы-то говорите. Будто за тот перстень дом купить можно было, а он его за мешок муки выменял, голодал. Верно, барыня, мало ль чего наскажут. Краснобай такой, балахвост. Катичка ему — «а, пустая вы балаболка!» — а он в ладошки — «поклоняюсь, поклоняюсь!» — никакого стыда. Да больше ничего словно не говорил. Да, вот чего еще говорил:

— Это Медынкин на меня серчает — и адреска барыни не дает. А теперь старое помнить грех, все мы как потонули, будто уж на том свете. Все равно я ее беспрерывно разыщу!

Разыщу, говорит, — так и сказал. Такой настойчивый... В соборе он нам попался. Из себя-то? Да не так, чтобы ахтителный какой, и уж немолодой, а видный такой мужчина, брюзглый только, брыластый такой, губастый. Ну, попался он нам в соборе... совсем без копейки оказался, и уж стали его выгонять из Америки, что беспачпортный. А тоже чего-то там представлял, разбойника, что ли, — Катичка говорила. А одета она шикарно, и к собору мы с ней на автомобиле подкатили, — он тут и подскочи. А разговор у них свойский, дерзкие они все — «Как так, не помните! А в Париже-то мы крутили с вами!..»

Чего сказал! Катичка ему и отпела, перчаткой так: «Извините, не помню... и хочу молиться!»